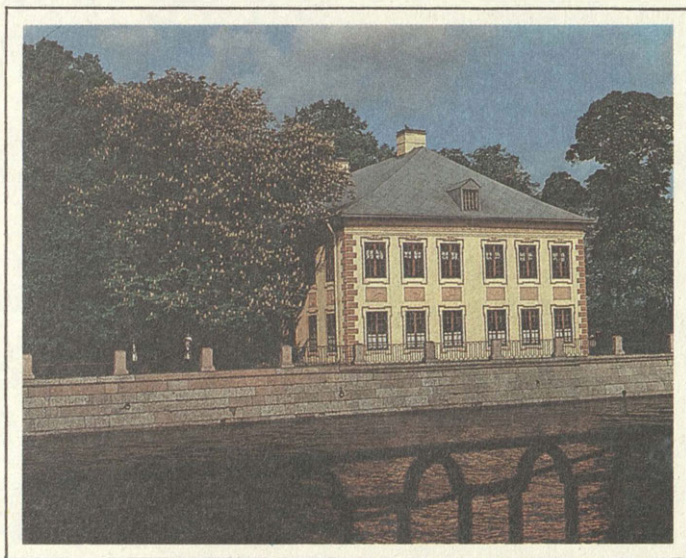


## «Сады прекрасные, под сумрак ваш священный Вхожу с поникшею главой...»

### ЛЕТНИЙ САД



Это — о Царском Селе. Но, может быть, и о всех садах, где когда-либо ступал Пушкин, о садах Одессы и Молдавии, Крымских, Михайловских и Тригорских, о Летнем саде, ибо без Садов его лира была бы, наверное, другого строя, как, впрочем, и многое в искусстве вообще — в музыке Люлли и Моцарта, в живописи Ватто, Фрагонара и Гейнсборо, Сильвестра Щедрина и Борисова-Мусатова.

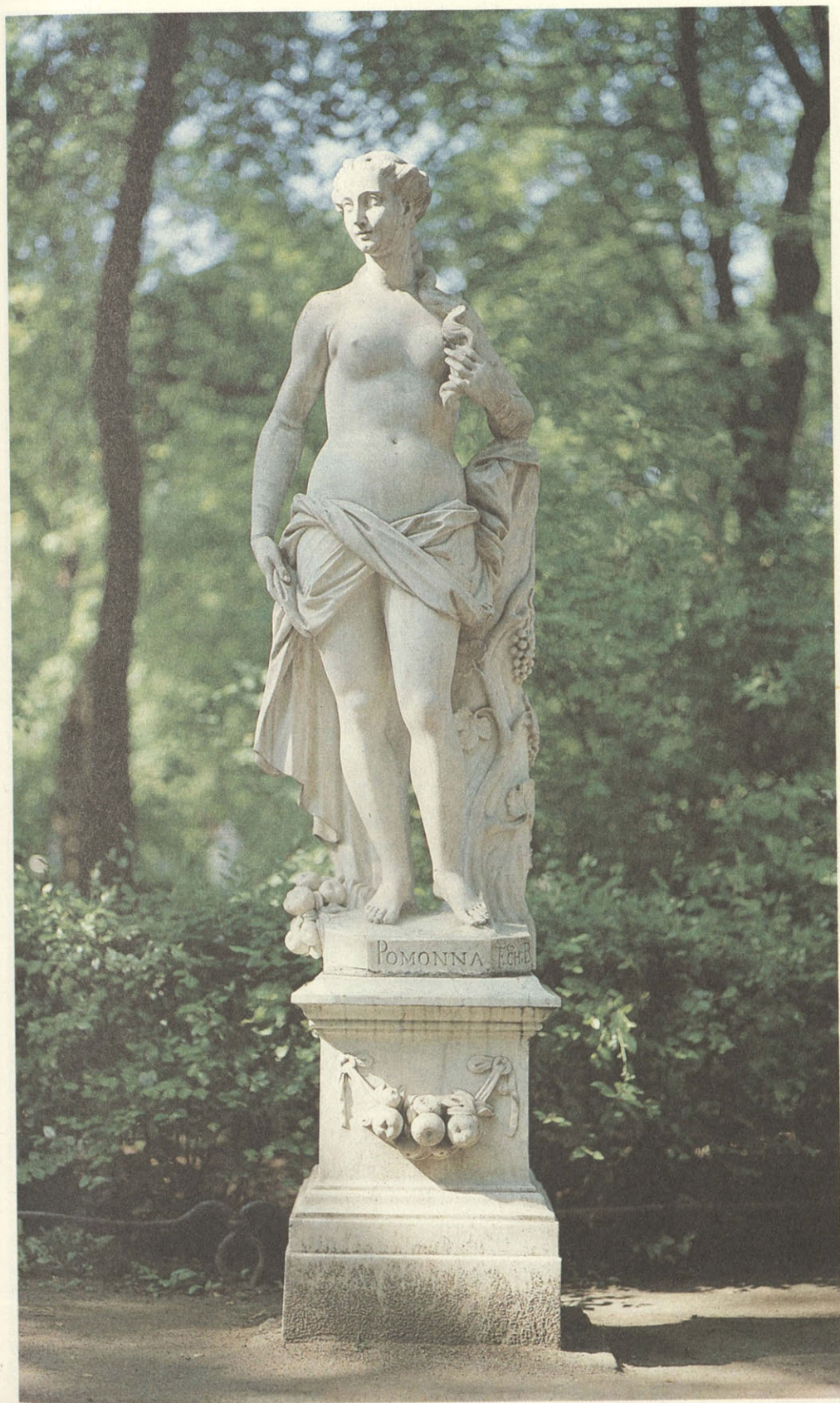
Знаменитый англичанин — поэт XVIII века Александр Поп утверждал в этой связи, что «все искусство садоводства есть пейзажная живопись». Можно говорить и шире: все искусство Садов, слитое искусство природы и человека, есть поэзия; прибавим Белинского — «дышащая таинственной жизнью души».

Летний сад Пушкин вспоминает в стихах лишь единожды, хотя называл его ласково своим «огородом», хотя он такая же часть его жизни, как и Болдино, как «Евгений Онегин»

и «Руслан и Людмила». И сегодня образ Пушкина витает в прохладных аллеях, приходит в воображение и у дворца-домика Петра I, — этого разгадываемого Пушкиным сфинкса истории, и напоминает у дурманящих кустов чайных роз о другом гении-поэте, авторе «Девушки розовой калитки», о Блоке, произнесшем перед смертью свою божественную пушкинскую речь.

Хотя не исключено, что эти пушкинские видения в Летнем саду и самообман, связанный с магическим именем, — как снайперски точно выразила Ахматова: вся та эпоха «мало-помалу стала называться пушкинской (...). И это уже к литературе прямого отношения не имеет, это что-то совсем другое», — и посреди книг и перемаранных черновиков на его столе вдруг тоньшина фарфоровой чашки с остатками еще влажной кофейной гущи на дне, обгрызанный остов птичьего пера и посеревшая лайковая перчатка под стеклянным колпаком, и река Мойка, Невский проспект,





Александрейский столп, Зимняя канавка, и прозрачные, чуть выцветшие акварельные лица престелных женщин, и гравированные листы с видами Биржи и Петропавловской крепости за Невой, белеющей парусами, блеклый узор старого бисерного кошелька, и, с сохранившимися у ворот тумбами для коновязи, осевшие сиреневые особняки, про которые говорят: «здесь бывал Пушкин, или: здесь не бывал Пушкин», и Летний сад, ставший ему одним из тысячи памятников потому только, что уж тут-то он бывал определенно.

Хотя, казалось бы, что такое Летний сад? Сад у Невы, в центре одного из красивейших городов мира.

Что такое Летний сад? Птичьи гнезда, дырявые тени от тополей и лип, розы и мраморные статуи, престелный крошечный дворец, в котором жил когда-то Петр I.

Что такое Летний сад? Часть русской истории, произведение русского искусства, прекрасный музей, по которому водят экскурсии.

А еще: место свидания влюбленных; иногда место их расставаний. Школа, где учатся живописцы и поэты, где учатся дети — понимать красоту. Дорога: по ней идут люди, кому от Дворцовой набережной скорее надо попасть к Инженерному замку. Дорога: по ней идут люди, пусть нерасчетливо делая крюк, но думая: лучше я пройду Летним садом.

Что такое Летний сад? Имя собственное, знакомое нашему слуху с младенчества — как все тот же Пушкин, Волга... Что такое Летний сад? Живой организм, то, что родилось, пу-скало первые ростки, ощущало боль, погибало, рождалось вновь и что до сих пор цветет, танцует к солнцу, зеленеет, желтеет, сбрасывает листву, омывается дождями, стынет под ледяным ветром и опять зацветает.

Что такое Летний сад? Память.

### НОЧЬ

Синяя ночь стояла над Летним садом: река лилась на удивление тихо, и только изредка синь прочерчивал рубин корабельного огня, а тишь нарушал бормотаньем дизель, но потом снова и надолго все замирало. Летний сад был очень стар, уставший за многолюдный и пыльный день от сотен тысяч шагов, он засыпал быстро, и легкий туман, словно аура его дыхания, постепенно принимался светиться над ним, омывая росой траву, корявые стволы, листья и мраморы.

Почти за триста лет мраморы успели срастись с телом сада и постареть вместе с ним, представляя теперь лишь остатки тех прежних роскошных мраморов, что когда-то стояли здесь, а потом навсегда исчезли во времени. Из этих остатков венецианские мраморы были, пожалуй, самыми лучшими, и сад гордился своими La Chiarezza — Благодарством, Sinceritas — Искренностью. La Bellezza — Красотой, Lusuria — Сладострастием, Gloire — Славой и Clementia — Милосердием. Но особо он дорожил изваяниями Nox — Ночи, Aurora — Утра, Meridis — Дня и Occidens — Вечера, сработанными резцом Бонацци, ибо, как ему казалось, эти статуи олицетворяли всю его жизнь.

Ночь всегда усыпляла Летний сад, но, будучи дочерью Хаоса, приносила и самые мрачные, подчас кошмарные сны, навеванные тревогами и раздорами, что пронеслись здесь когда-то.

Самым тяжелым сном была последняя война, и, если она снилась саду, он снова чувствовал себя вывернутым наизнанку, чувствовал на своей спине траншеи и ямы от бомб, на своих цветочных партерах — картофельные и морковные огороды, а внутри себя — закопанные людьми и словно проглоченные им тяжелые мраморы:

*Ноченька!*

*В звездном покрывале,  
В траурных маках, с бессонной совой...*

*Доченька!*

*Как мы тебя укрывали  
Свежей садовой землей...*

Ахматова была влюблена в Летний сад, и при всяком появлении ее в аллеях он отвечал тем же, но в войну он стал простым огородом, и десятки детей, выживших на его тощих картошках и морковинах, стояли всех влюбленностей и роз в мире.

Сад не впервой терял свою красоту, и, кроме войны, он еще часто вспоминал по ночам про свирепые наводнения, в которых не однажды и всякий раз почти до смерти захлебывался. Он, например, точно должен был погибнуть и не погиб только чудом в сентябре 1777 года, когда подъем воды достиг десяти с лишним футов и река вошла в берега только на другой день к полудню. Страшная буря свирепствовала накануне, и именно она больше, чем само наводнение, калечила вековые деревья и рушила беседки и фонтаны — последние вехи вычурных петровских затей. Но еще хуже было бедствие 7 ноября 1824 года с сильнейшим знойд-вестом. Водяные горы обрушились тогда на сад и подмяли его под себя, ломая статуи и дубы, после чего он сделался заваленным какими-то будками, хламом, бревнами и деревянными крестами с могил, принесенными невесть откуда.

Но иногда Nox дарила не только кошмары — сладостные воспоминания, и они были о белых ночах, насквозь пропитанных любовью. Тогда наступал некий полубомбочный сумрак, что-то мелодично стрекотало и тренькало в разросшихся куртинах и клубились лиловатые сплетающиеся тени, сильнее источались благоволия трав и фиалок, и ветерок перебирал нежные одежды лип, убаюкивал признаниями:

*Я к розам хочу, в тот единственный сад,  
Где лучшая в мире стоит из оград...*

И приходили эти минуты редкостного наслаждения перед самой зарей, когда за водяной гладью принималась уже чуть золотиться петропавловская игла.

### УТРО

Первыми по утрам являлись садовники, и первая статуя, какую они для лоску обливали из лейки, была Аурига. Тех садовников, вспоивших его в младенчестве, сад помнил всегда — сначала знатного мастера Яна Розена, потом Илью Сурмина, Шредера и Гаспара Фохта, того самого Фохта, что до гробовой доски делал вид, что не может простить Петру обман, которым тот заполучил его в Россию, насильно вывезя вначале жену и детей, так что тому другого и не оставалось, как отпра-



виться следом. Но те Фохтовы ворчанья и обиды не были злобными: он полюбил и Россию, и Петербург, и сад, ставший ему родным домом.

Младые годы Летнего сада были чудесны, ибо не только ощущение молодости и красоты, но и ощущение своей нужности переполняло его тогда: сад лежал словно раскрытый учебник, словно лицей, даря драгоценные знания; он, уставленный буквально как шахматная доска статуями, всякая из которых олицетворяла собой целую новеллу, учил на ассамблеях древней истории, мифологии, символам и эмблемам. Кроме статуй, выражали свой тайный смысл деревья и кусты, аллеи и пруды, дорожки и форма листьев, голоса птиц и расцветка бабочек; даже каждый цветок был тем

то есть веселый остров: на Люст-еланде поставили Люст-гаузы — веселые дома и насадили Люст-гартен — веселый сад: соленый морской ветерок, ватные хлопья на васильковом небе, вблизи звенела топорами адмиралтейская верфь, за Фонтанкою — верфь партикулярная, снабжавшая жителей шлюпками и буерами, так что ходили вокруг Люст-еланда резвые парусники, с брызгами разрезавшие холодную рябь Мойки, Фонтанки и Невы.

Парусники и цветы, скрип корабельных мачт, запах смолы и розмарина, хрустальная музыка фонтанов, над каждым из которых всходила по утрам маленькая радуга, — вот приметы молодости Летнего сада. Он простирался тогда далеко, отнимая простор у Марсова поля, занимая место Инженерного замка



или иным знаком: ирисы — царственностью, лилии — непорочностью, вишни — радостью, земляника — справедливостью, так что прочитавший сад от корки до корки должен был не только умственно, но и духовно возрасти.

Своим рождением сад оказался обязан записью Северной войны, когда шведский король «увяз в Польше»; той порой датируется и садовая метрика, писанная для Москвы неразборчивой царской рукой: «Не пропустив время, всяких цветов из Измайлова не по малу, а больше тех, кои пахнут, прислать с садовники в Питербурх. Peter». Привезенные вскоре лилии и мускусные розы — первые цветы, которыми расцвел Летний сад, после чего стали катить на пушечных лафетах липы и ильмы из Киева и Воронежа, барбарис из Копенгагена, из-под Москвы везли яблони, из Соликамска — кедры и пихты, из Гамбурга каштаны и деревья для фигурной стрижки, из Любека белую сирень, из Голландии и Франции семена и луковички черных тюльпанов.

Местность, которую столь изысканно стали озеленять, была удобно расположена между реками, сложившими собой остров, названный на голландский модный манер Люст-еланд,

и Михайловского дворца, которых не было и помину: прелестные аллеи, опушки и рожицы, спрятанные теперь за спиной Русского музея, — это тоже бывший в петровскую старину Летний сад, та его часть, что называлась садом за маленькой речкой — там красовались среди листвы «золотые хоромы» Екатерины I.

Очень часто услаждались музыкой. Вот только вчера все ходил в пустом еще Летнем саду духовой оркестр молоденьких моряков, бодря старые липы маршами, и сад вспомнил, как лет двести назад с раннего утра оглашался он рыдающими органными звуками: то у самой Невы пробовали себя в репетиции музыканты-роговики: зеленые кафтаны выстраивались в линию, отдраенной меди рога сверкали на солнце, и было их на четыре октавы, то есть до полусотни, — от верхковых до саженных, упиравшихся из-за тяжести на подставки; в каждый рог выдувалась одна лишь нота — резко, протяжно или с вибрацией, как требовал того пудренный маэстро, и мощный плач этих труб с эхом ударялся о неевское рябое зеркало и уходил ввысь, под прозрачный небесный купол.

Рань для сада всегда несла радость, даже и теперь, в старости. Он любил знакомого

сморщенного плотника, одиноком дятлом починавшего на безлюдных еще дорожках поломанную скамью, округлый в сырмом воздухе, ухающий и угасающий в отдалении рокот утренней баржи, первую засвиставшую птицу и первого лобознательного туриста с заспанными глазами и с его, сада, планом в руке. Он любил утра и ясные, и пасмурные, когда в молочной дымке чугунные вертикали ограды уходили в нерезкость, зыбко таяли, теряя свою материальность, и сад словно сливался с Невой, и ему казалось, что он тот древний болотистый лес, когда-то непроходимой стеной росший по берегам этой реки; лес был предком Летнего сада, и даже Летний петровский дворец поначалу называли просто — «домом в еловой роще».

Летний дворец до 1713 года был и вправду небольшим, пестро выкрашенным, под черепицею домом простейшего голландского фасада, но после приезда в Петербург талантливейшего архитектора Андреаса Шлютера, переназначенного тот голландский дом на свой лад, обернулся игрушкой-дворцом с терракотовыми рельефами вокруг и с великолепной наддверной лепкой, что, собственно, и являло излюбленный прием шлютеровской декорации.

Шлютер был человек мятующийся, с проблесками гениальности, враг всякого «искусства, сочиненного по книжкам», и противник однообразия, и каждая его следующая постройка, будто придуманная другим автором, не походила на предыдущую, как не походил, например, Летний дворец на бесподобное совершенство Грота, veskyю тяжесть которого Летний сад еще помнил, помня и самого Шлютера — маленького, болезненного вида человека, в замызганном кафтане, умершего всего через год после приезда в Петербург. Тот год он жил рядом с Петром в особой комнате, куда, кроме царя, nepoзвoлитeльнo было заходить никому и где мучительно искал *regretium mobile*, построив сложнейшую модель; пружины и колеса там постоянно лопались, убийственно расстраивая изобретателя, которому был оттого не мил белый свет и которого не могло развеселить ничто, включая и чету карликов, запечатанных в паштете, присланном как-то Петром I своему любимому архитектору на утренний завтрак. Из паштета вылезши, те карлики танцевали вокруг стола, а потом под царский готот отмываться были отправлены на Фонтанку.

## ДЕНЬ

Свои дни Летний сад ощущал как что-то абсолютно ясное и без полутонов, даже когда мрачнел от набежавших туч. Толстощекий *Meridius* и в тучах твердо и уверенно улыбался, сжимая в руках пучок солнечных лучей и ветку лотоса — солнечного цветка.

Дни сада — это не только дни его здоровья, весен и цветения всех лип, вязыов, дубов, кленов, каштанов, ясеней, тополей, акаций, боярышника, жимолости, сирени, которых и сегодня, старым, имел он больше четырех тысяч стволов. Дни сада — это еще и светящийся пунктир, сияющая цепь отношений, связавшая сад с теми людьми, которые верно любили его и которым он доверчиво отвечал верной любовью. Людей этих было великое множество, и среди этого множества был Пушкин.

Особенно часто он приходил сюда летними днями 1834 года, когда жил в двух шагах, на Пантелеймоновской улице. Те времена отличали сад какой-то особой, зрелой красотой: его центральная аллея и аллея, идущая вдоль Невы, были крыты яркими песками и уставлены мраморными скамьями — за ними совершенно отвесным бобриком взлетали высокие, прямоугольно стриженные шпалеры зелени светлого тона, над которыми свободно вились уже густо-зеленые кроны старых, еще петровской высадки деревьев. И хотя Пушкин не описал всю эту благодать и посвятил ей в «Евгении Онегине» лишь одну скупую строку, сад прочно хранил часть пушкинской души, так что, например, Чайковский, перерождая «Пиковую даму» в музыку, совершенно без объяснений и вдруг начал с несуществующей в повести сцены Летнего сада — как потом выяснилось, совершенно необходимой и, быть может, самой пушкинской во всей опере.

У Летнего сада было много счастливых дней. День установки в 1720 году в воздушной галерее перед Невой «белой дьяволицы Фенус» — мраморной античной Венеры, найденной в Италии царским агентом Кологривовым и через все запреты, на особой каретной качалке, все же доставленной в Россию. Весенние дни 1784 года — окончательный аккорд исполнения невской решетки, сочиненной царственным пером Фельтена, решетки простейшей в рисунке, но во всем свете самой величественной по впечатлению. Даже если Фельтен не оставил бы после себя ничего, кроме нее, — все равно память о нем вошла бы навсегда в историю красоты, и потому не менее были радостны для Летнего сада те голодные дни 1918 года, когда люди отказали американцам обменять решетку на трактора и паровозы, столь, казалось бы, необходимые им для того, чтобы поскорее сделаться сытыми.

Наконец, ослепительно яркое солнце стояло над ним, когда во всю свою силу начиная с 1730-х годов стал кодовать здез гениальный Растрелли-сын: вначале он строит в саду Анненский дворец, а чуть позже, на месте нынешнего Инженерного замка, третий Летний — огромнейший и широко раскинувшийся, весь изукрашенный лепниной и статуями: даже в сохранившемся лишь на холсте изображении своем дает он, по мнению Грабаря, представление «о той феерической — почти на сновидение похожей жизни, которая происходила вокруг него».

Дворец был на сто шестьдесят залов, комнат и комнаток, перед ним с фонтаном из пудостского камня помещалась площадь с цветочным партером, обсаженная фигурно стриженным тиссом и лавром. Кроме того, играли брызгами водяные пирамиды, выбрасывавшие целые снопы воды, а на галереях зеленели висячие сады, как бы предвещаая собой большой и старый — Летний, куда через Мойку перекинул Растрелли крытый мост, украшенный живописью и позолотой.

Сотни садовников, тысячи певчих птиц, экзотические звери, дорогие цветы, душистые травы, фейерверки и маскарады: никогда не всходило и не взойдет так высоко над садом солнце его величия, взнесенное к зениту великим художником и великим стилем, точнее — уже агонией этого стиля. Очень скоро

он, стиль, будет забыт и даже считается безобразным, как вышедшая из моды шляпа, а полновластный властелин русского барокко, автор Анненского, Елизаветинского, Зимнего, первого Аничкова, Воронцовского, Строгановского, Петергофского, Царскосельского дворцов и Смольного монастыря, не знающий среди зодчих своего времени ни одного соперника, тончайший поэт живописной и садовой архитектуры, Растрелли умрет в полной нищете, безвестности и точно не установлено где.

Последний раз Летний сад видел у себя Растрелли накануне отъезда навсегда: у пюпитра, словно на память, срисовывал он тогда лучший, пожалуй, здесь барочный мрамор *Oscidens*, — усталого, но сильного старика по имени Вечер, с длинной развевающейся бордой и бугристо разработанным телом, где выделялись все мышцы и артерии, образуя до осязательности живую поверхность мертвого камня. Статуя эту и сегодня предпочитают для штудий те художники, что любят выбрать своему карандашу испытание потрудней.

### ВЕЧЕР

За свою жизнь сад перевидал много кораблей. Он видел трехдечную громадную «Ингерманландию», точно, как в лузу, вогнанную кормой с Невы в устье Фонтанки, чтоб Петр, сошедши в шлюпку, с двух весельных ударов мог оказаться уже в своем «таванце» — у порога Летнего дворца. Сад видел чичаговского «Сыся Великого» после похода к британским берегам — «Сысой Великий» буквально летел на всех парусах в сторону Адмиралтейства и, проходя между садом и Заячьим островом, дал с двух бортов полный салют, плюнув раскаленными искрами и желто-голубым дымом. Сад видел распластанных, запакованных в броню «Герцога Эдинбургского» и «Генерал-Адмирала» и видел изящную, как серая ящерица, стальную «Аврору», ревавшую реку с глуховатым рыком, и угольный сизый дух ее стелился по воде, мешаясь с морозящим осенним бусом.

Весь пропитанный йодистой сыростью, сад сроднился с водой и кораблями, являя в том свое *alter ego*, поскольку, пожалуй, ни один сад мира, кроме русских братьев-садов — Петергофского, Стрельнинского и Ораниенбаумского, — с водой и кораблями так нераздельно не сливался и потому знал, что он не просто сад, но сад сильнейшей морской державы, заложеной одновременно с ним.

С тех пор прошло почти триста лет, и за это время сад как бы усох, уменьшился чуть ли не вдвое, теснимый городскими дворцами, мостовыми, гранитами, посаженный в них точно нешлифованный изумруд в драгоценный широкий браслет. Мало того, что усох сад — он полностью переменял облик и почти ничего не напоминает теперь в нем о годах молодости — о его боскетах, огородах, оранжереях, трельяжах, мостках, цветах и фонтанах.

Уменьшение сада началось еще при Екатерине II, и это было для него началом заката. С середины же девятнадцатого столетия стали и вовсе портить сад: повтыкали вдоль аллей дрянный зелененький штакетник, пытались переменить некоторым скульптурам их увечные носы на «классические», прикрывать срамные места фиговыми листьями. На месте

разломанного Грота был возведен Кофейный дом, где царствовал ресторатор Пияцци, разбросали вокруг разных ларьков, выстроили даже баню «для лечения, посредством паровых и холодных ванн», а петровский Летний дворец и вовсе попеременно отдавался для житья всяким нужным правительству людям: князю Голицыну, князю Горчакову, князю Лобанову-Ростовскому, графам Милорадовичу и Канкрину, даже просто приживалкам, оставшимся от польского короля Станислава Понятовского.

Но старость приносила и отраду: сад давал все больше меланхолической тени, и его темные аллеи смыкались над головой в прохладные своды бунинских элегий:

*Нет солнца, но светлы пруды,  
Стоят зеркалами литыми,  
И чаши недвижной воды  
Совсем бы казались пустыми,  
Но в них отразились сады.*

Именно в этом качестве он обретал новую суть, становился материалом, источником высокой поэзии, больше — сам становился поэзией, еще больше — искусством вообще, некой громадной эстетической формой, начиная полностью принадлежать лишь художнику. Открывая ему, способному понимать сложный язык его настроений и тем, свою душу, сад высекал в ответ стихи и думы, божественные звуки и линии, и теперь с блаженной дрожью вспоминал он невозвратимые часы своего вдохновенного союза с Батюшковым и Глинкой, Пушкиным, Фетом, Шевченко и Анненским, Валентином Серовым, Чайковским и Цветаевой.

Сегодня стало и лучше и хуже, чем было в старину. Сегодня в сад могли прийти все, кто пожелает, и он ежедневно видел у себя разноцветные россыпи играющих детей, влюбленных, и читавших под его сенью книги, и рисовавших его статуи, и знакомых стариков, находивших здесь надежный приют от своего одиночества; но неприятен был чад, исхивший от города и грызший старые деревья и мраморы: деревья болели, а мраморы сделались пористыми, серыми, и лишь то немного успокаивало, что люди крепко думали: как сохранить их?

Сад, он знал это наверное, должен был жить вечно, и вечность давала о себе весть с каждой его пяди: ростом трав, скрипом и гудением мощных стволов, цветением цветов, и вера в то, что все еще впереди, переполняла его жилы солнечными соками, бродившими долго и после того, как сам огненный шар, прокатившись по небосводу, отдавал место вечерней прохладе. И закат уходил куда-то за горизонт, образуя собой подобие рампы, и одновременно, словно по сигналу, свет розового занавеса начинал постепенно гаснуть, синеть, на нем, сначала кобальтовым, потом совсем непроницаемо-бархатном, каким по всем правилам и должен быть плащ Нох, появлялись золотые блестики звезд: они нескончаемо вздрагивали, мигали, хотели сказать что-то этой земле, этой реке, этому старому саду. Он же в ответ протягивал к небу ветви, грустно шептал темной листвой, словно давал понять, что все понимает.

А. Е. Васманов, журналист